

Они родились в один день с разницей в один год. Она старшая, он — младше. Она была Поэтом. Кем был он? Долгие годы во всем, что писали о ней, его и вовсе не было и в пору было подумать; а был ли он на свете, не придумаешь ли она его себе таким — с такими огромными глазами?

Марина Цветаева и Сергей Эфрон.

Он был.

«Сергей — имя тонкое, но некое хрупкое, без стержня, и Сергею требуется какая-то парность...» (П. Флоренский).

Ему было семнадцать, ей — восемнадцать. Он полярник на кочетельском берегу, помините? — сердликовку бумину.

Когда их навсегда разлучили и Марина решила не жить, он догнал ее — они погибли в один год. Она — в августе, он — в октябре 1941 года. Марина так и осталась старшей. Сергей так и остался младшим. Такими они любили друг друга...

Кем же он был? Медбрат на первой мировой, прапорщик 10-й роты 56-го запасного пехотного полка в дни октябрьского переворота, в добровольческой армии — с первых дней ее создания, сперва у Корнилова, потом у Врангеля, — в марковском офицерском полку.

Философ — в 1925 году окончил философский факультет Пражского университета, докторскую диссертацию защитил по истории искусств. В последней своей анкете в графе «профессия» написал: «литератор». Первая его книга прозы вышла, когда ему было девятнадцать лет. Писал рассказы, повести, в эмиграции написал «огромную», как говорила Цветаева, книгу о гражданской войне в России. Лишь одна глава этой книги появилась в пражском журнале «На чужой стороне», остальные — исчезли.

Один из лидеров евразийского движения. Редактировал несколько эмигрантских журналов сперва в Праге, потом в Париже, был организатором Евразийского клуба и газеты «Евразия».

А еще был актером — некоторое время играл в Камерном театре в Москве, оператором — закончил киношколу в Париже, а еще был безработным и резчиком картона...

Последняя его профессия — разведчик. Человек, никогда не живший в советской России, стал агентом советской госбезопасности. «Я не был шпионом, — скажет он следователям в 41-м году, — я был честным агентом советской разведки...»

Все это — да. И все — нет. Все это было, но не в том была суть. Его единственное, благословенное и воспетое Мариной служение было одно — добровольчество.

«Добровольчество — это добрая воля и смерти...» (Марина Цветаева, эпиграф к «Посмертному маршу»).

Маринино посвящение на поэме «Перекоп»: «Моему дорогому и вечному добровольцу».

Все остальное — мимо.

Сергей женился на Марине будучи гимназистом. Уже родилась дочка, а он сдавал экстерном экзамены за восьмой класс. «Муж — гимназист!» Но проинизировать мог лишь чужой, кто не знал, что переживал и переносил этот худенький юноша к своим семнадцати, когда он встретил Марину.

В 13 лет — арест матери, Елизаветы Петровны Дурново, ее девятимесячное заключение, потом ее бегство за границу, в Париж, вместе с Сергеем младшим братом Костей. В 15 лет он узнает о смерти отца, тоже эмигранта-ка-эмигранта, бывшего народного. В 16 лет в один день он теряет мать и брата. Четырнадцатилетний Костя пошелся, приехал из парижской школы (причина самоубийства так и осталась неясной). В ту же ночь в отчаянии покончила с собой и Елизавета Петровна.

Десять лет спустя, оказавшись в Париже, Сергей напишет сестре в Москву: «На каком кладбище наша могила? Никто не знает...» Потом он нашел могилы родителей и брата на Монмартрском кладбище. Уже после отъезда Эфрона в СССР Цветаева заказала и поставила памятники родным, которых она никогда не видела.

Марина — Сергей, 11 декабря 1917 года (он — в Коктебеле, она — в Москве): «...Я думаю, Вам уже скоро можно будет возвращаться в Москву, переждите еще несколько времени, это вернее. Конечно, я знаю, как это скучно — и хуже! — но я очень, очень прошу Вас».

И не применяю Вашего душевного состояния, я все знаю, но я так боюсь за Вас, тем более, что в моем доме сейчас находится одна мерзость... Очень Вас люблю... Вот так, на «Вы» они были всю жизнь. Сквозь войны, чужие кухни, нищий быт, в лохмотьях — но на «Вы!» На высоте, однажды взятой и удержанной вопреки всему. В этом «Вы» была не отчужденность, а гордость суверенности ближнего, уважение к его сложности. Чем ближе люди в своей повседневной близости, тем тщательнее должны быть отделка их отношений. Цветаева была на «ты» с Пастернаком, он был далеко, Сережа был вечно рядом, а потому — только «Вы!»

Из «Записок добровольца» Сергея Эфрона:

«...Ко мне подходит прапор-

щик Гольцев. Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно. — Ну что, Сережа, на Дон? — На Дон, — отвечаю я...»

Марина о Сергее: «В последний раз я видела Сергея 18 января 1918 года. Как и где, когда-нибудь скажу — сейчас духа не хватает...»

В тот день он уехал из Москвы на Дон, она провожала, ехала с ним до Тамбова.

С остатками врангелевской армии Эфрон оказался сперва в Турции, в Галлиполиском лагере, потом, с трудом, в вагоне для перевозки скота, добрался до Праги, где вместе с такими же молодыми ветеранами стал учиться в университет и жить в общежитии-казарме. Там его и нашел Илья Эренбург.

Именно в мемуарах Эренбурга, печатавшихся в самом начале 60-х годов, появилось первое печатное упоминание о Сергее Эфроне. Эренбург назвал его «мягким, скромным, задумчивым». И только...

В одном из писем Ариадна Эфрон обратился с печальным упреком к И. Эренбургу (3 мая 1961 года): «Вы-то знаете, что не папина мягкость сроднили его с мамой на всю жизнь — и на всю смерть...»

Сергей — Марине, июнь 1922 года: «Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Илья Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробыл целый день по городу, обезумев от радости...»

Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать

ступничество» от «наших», а то просто — за фамилию. Так, за фамилию, задел Сергея Яковлевича в 1926 году В. Ходасевич, потом Лев Карсавин и Петр Сувичинский — все краса и гордость, между прочим, той первой русской эмиграции...

Из письма Марины Цветаевой П. Сувичинскому и Л. Карсавину, 9 марта 1927 года: «...Не дожидаясь Сергеевского возвращения, пишу Вам...»

«...Говорите в своих статьях о помесях, о прикroyках и т. д., ссылаться на еврейство «одного из редакторов» я воспрощаю».

Марина Цветаева Р. С. Евреев я люблю больше русских и, может быть, очень счастлива была бы быть замужем за евреем, но — что делать — не пришлось».

Он болен туберкулезом и ностальгией. Он чувствовал какой-то рок, в том, что как и его родители, выброшен из России и обречен умереть нищим на парижской окраине.

С «белыми» идеалами он расстался еще в те дни, когда Марина воспевала белую гвардию и молилась за нее, — расстался на Перекопе, где у офицеров руки примерзали к винтовкам, где они кутались в мехи от «гуманитарной» помощи союзников вместо полубубков, где раненые сотнями замерзали в санитарных поездах. А последние «западничестве» иллюзии уцелевшим гвардейцам отбивали на полуострове Галлиполи, в лагере, который немцами отключал от концентрационного.

а его жизнь была с проигравшими и никогда — с победителями. Эфрон был не похож на победителя, он был похож на мученика.

Сергей Яковлевич платил честью и добрым именем не столько за свое возвращение — за Маринину. Он, может, потому только и согласился на такую цену, чтобы ее не трогали, но чтобы вернуться вместе...»

В сентябре 1937 года в Швейцарии был убит чекист-невозвращенец Игнатий Рейс, а в Париже — похищен генерал Е. Миллер. Расследование этих преступлений было уделом направлено в выдворенную для НКВД сторону. Парижская пресса объявляла евразийцев преступниками. Операция была блестящей; ненадежные агенты с сомнительным прошлым устранены, надежные под шумком о евразийцах молди спокойно работали.

Марина — о Сергее (в письме Ариадне Берг), 26 октября 1937 года: «Сейчас больше писать не могу, потому что совершенно разбита событиями, которые тоже БЕДА, а не вина. Скажу Вам, как сказала на допросе: — Это самый честный, самый благородный и самый человеческий человек. Но его доверие могло быть обмануто — мое к нему — никогда...»

Марина о Сергее, ноябрь 1937 г.: «Говорю Вам, что бы Вы о моем муже ни слышали и ни читали дурного — не верьте, как не верит этому ни один из его — не только знавших, но — встречавших. Один такой мне недавно сказал: — Если бы С. Я. сейчас вошел ко мне в комнату — я бы не только обрадовался, а

В одной из последних своих записей Цветаева вспоминает, как на обычный вопрос о рубашках: «Разве Вы не видели?» он ответил: «Я на Вас смотрел!»

Его арестовали 10 октября 1939 года. Когда вводили в ночь, к машине, стоявшей под соснами, Цветаева ослепла Сергеем Яковлевичем крестным знаменем.

Осенью 56-го Ариадна Сергеевна почти каждый день приходила на Пушкинскую, в прокуратуру Союза, добиваясь реабилитации отца. Она сидела в очередях, а потом ей говорили: «Как же мы можем его реабилитировать, если и дела-то на него у нас нет».

Дело отца Ариадне Сергеевне не только не показали, но и долго отрицали сам факт его существования. Сейчас так же говорят о деле на Цветаеву — никогда, мол, такого дела не было...

Возможно, где-то в архивных теснинах лежит и тот не большой архив Сергея Эфрона, отобранный у него в болшевском доме в ночь ареста — с 9 на 10 октября 1939 года. Как сказано в деле, изъято 141 письмо, 20 записок, записная книжка... Основной архив Эфрона погиб еще во Франции, в 37 году, когда так же, в октябре, ранним утром пришла к Цветаевой с обыском четыре полицейских и забрали все рукописи Сергея, личную переписку, дневники...

В первом издании замечательной, исключительной по такту и бережности книге

бета носила строго конспиративный характер.

— Характер вашей работы, связанной с советскими учреждениями, следствие не интересует. Расскажите о той, которую вы скрывали от советских учреждений...

— Таковой не было. Как секретный сотрудник, я был под контролем соответствующих лиц... Прошу прервать допрос, так как я не совсем хорошо себя чувствую...

В медицинской справке еще от 19 октября, подшитой в дело, сказано, что Эфрон страдает стенокардией: «Сердце расширено во все стороны, глухие тоны». Лефортовский врач советует проводить «лечения» с последственным в дневное время и не более двух-трех часов в сутки.

И все это на фоне его старых болезней: больших легких, астмы.

Марина о Сергее, лето 1940 года, в одном из писем: «У меня лета не было, но я не жалею, единственное, что во мне есть русского, это — совесть, и она не дала бы мне радоваться воздуху, тишине, снегу, зная, что, ни на секунду не забывая, что — другому в эту же секунду задыхается в жаре и камне...»

Из протокола допроса: — Значит, Октябрьскую революцию вы встретили враждебно? — Совершенно верно. — Ваша связь с белым движением отразила общность ваших взглядов в борьбе против большевиков? — Именно так... — Расскажите о вашей антисоветской деятельности после 1929 года. — Мне ничего вам рассказывать. После 1929 года ее не было.

— Следствие вам не верит... 3 октября 1940 года, из письма Цветаевой Елизавете Эфрон, сестре Сергея: «Милая Лилия, спешу Вас известить: С. на прежнем месте. Я сегодня сидела в приемной полумертвая, п. ч. 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится... Я тогда же пошла в вопросы и ответы и запросила на обороте анкеты: состояние здоровья, место-пребывание. Назначили на сегодня. Сотрудник меня унал и сразу назвал, хотя не виделись мы месяца четыре, — и посылно успокоил: у нас хорошие врачи и в случае нужды будет оказана срочная помощь. У меня так случились зубы, что я никак не могла поспать на «спасибо»...

Измученный друг, Николай Клепичин, говорит ему на очной ставке: «Сергея, еще раз к тебе обращаю. Давнее за последние вещи, против которых бороться невозможно, так как это бесполезно и преступно... Рано или поздно ты все равно признаешься и будешь говорить...»

Эфрон: На какие разведки я работаю? Клепичин: На несколько, в том числе на французскую... Следователь потребует подтверждения сказанного, а Эфрон устало ответил: «Пусть меня изобличают мои друзья. Сам я ничего сказать не могу».

Из протокола допроса С. Эфрона: — Какую антисоветскую работу проводила ваша жена? — Никакой антисоветской работы моя жена не вела. Она всю свою жизнь писала стихи и прозу...

После ареста Эфрона Цветаева готовит свой сборник для возможного — абсолютного невозможного! — издания. Первыми в этом сборнике Цветаева ставит свои старые стихи, посвященные Сергею Яковлевичу («Писала я на аспидной доске...»), и просит их выдвинуть на отдельную страницу. А перед тем она мучительно переделывает вторую строфу стихотворения, в ее черновой тетради осталось сорок вариантов, сорок признаний в любви, сорок заклинаний! Она любит, и он, там, в каменном мешке, живет лишь на Марининой прозябленной струночке. В июле — августе гибнут все его пять товарищей, как и он, осужденных 6 июля к высшей мере «за создание белогвардейской организации «Евразия».

Приговор окончательный и обязательный не подлежит. Марина жила, и пока она жила — не было никакой «окачальности» Эфрона, большого и замученного, перевезли из одного тюремного лазарета в другой.

«Моя память, которая есть сердце, Вы — знаете...», — писала Цветаева в одном из писем. В другом: «Он (Эфрон... Д. Ш.) похож на мою мысль... Марининой памяти, ее мысли-струночки хватили еще на сорок шесть дней его жизни — после ее ухода...»

В деле Эфрона есть справка, датированная 20 ноября 1939 года: «...С 7 ноября находится в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство. В настоящее время обнаруживает слуховые галлюцинации, ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и жене, и т. д.»

Может быть, ему слышалось это... Над синевато-подмосковных роц Накрапывает колокольный дождь. Калужской — песенной, — прекрасной, и она Смыкает и смыкает имена...? Его расстреляли в Орловском центре 16 октября 1941 года.

Марина о Сергее, 12 ноября 1913 года, Феодосия: «С. все гладит меня по голове, повторяя: Мама, это мама! Милая мама, милая, милая! Аля, поглади!»

И вот недавно Аля сама начала гладить меня по волосам, приговарывая: «Мил! Мил! — т. е. «милая, милая».

Все остальное — мимо.

Дмитрий ШЕВАРОВ.

# ДОБРОВОЛЕЦ

Комм. правды. — 1993. — 11 июня. — с. 3

## ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Их любовь была сильнее двух войн, двух революций, двух контрразведок и сотен разлук...



много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего от Вас не буду требовать — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы... Берегите себя, заклинаю Вас... Храни Вас Бог.

Ваш С.». Марина — Сергею: «Мой Серженька!.. Не знаю, с чего начинать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам...»

Сергей — Марине: «День, в который я Вас не выдал, день, который я провел не вместе с Вами, я считаю потерянными...»

Из воспоминаний Ариадны Эфрон: «...И тут мы услышали Сергеев голос: «Марина! Мариночка!» Откуда-то с другого конца площади бежал, мапа нам рукой, высокий, худой человек... Сергея... обнял Марину, медленно раскрывавшую ему навстречу руки, словно оцененные...»

Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез... Так они встретились на берлинской привокзальной площади в майский день 1922 года (опять в майский! — как одиннадцать лет назад в Коктебеле). Встречали Сергея вдвоем, а могли бы втроем — младшая сестра Ариадна Ирина погибла от голода в сирийском приюте в 1920 году. Как Сергей пережил это, как простил этот ужас жене и России? То известно лишь Богу...

Сергей о Марине, ноябрь 1924 года: «Марина больше не тянет меня и своих редких гостей за ашенорские горизонты, а сидит за своим столом, накрывшись всеми своими шальями, и либо вяжет (безумие продолжается), либо пишет... В соседней комнате хрипит прикус. сиринит Маринино перо...»

Дочь, много лет спустя: «Мама за всю свою жизнь правильно поняла одного единственного человека — папу, то есть понимала, любила и уважала всю свою жизнь. Во всех прочих очарованных человеческих (мужских) она разочаровывалась...»

С какой неподходящей нежностью Цветаева защищала Эфрона от наветов, сплетен, тычков в спину, которые с каждым годом эмиграции все учащались, становились все подлей и больней! За что его травила эмиграция? За необъяснимое бескорыстие, за «от-

Из письма С. Эфрона старшей сестре в Москву — 23 апреля 1926 года: «Пишу тебе совершенно откровенно... Верю, что нам предстоит еще длинный совместный путь и нужно к нему подготовиться. Если бы можно было тебе рассказать на словах, как я все это чувствую...»

Очевидно, в одном из писем он все-таки не удержался от изложения своей мечты о возвращении, и, вполне возможно, именно тогда НКВД знало его «на заметку», признав его настроения «весьма ценными». Он не устоял. Перед своей же любовью к родине — не устоял.

Из письма М. Цветаевой — М. Тесковой, Ваня 19 марта 1936 г.: «С. Я. держат здесь дольше не могу — да и не держу — без меня не едет, чего-то выжидают (моего «прозрения»), не понимая, что я — такой умру...»

Я бы на его месте: либо — либо. Летом еду. Едете? И я бы, конечно, сказала — да... Но от этого на себя не берет, ждет, чтобы я добровольно...»

Сергей — о Марине, в письме сестре, 1936 год: «Марина работает над переводом Пушкина на франц. язык. Получается у нее, поскольку могу судить, замечательно. Так, как верно, написал бы сам Пушкин. Особенно хорошо переведено — «Прошай свободная стихия...»

Все было устроено так, чтобы евразийцы сами прибежали в Союз. На них «повесили» самые грязные дела профессионалов НКВД — убийства. Настоящие убийцы работали в безопасности, прикрывшись жизнями безумно доверчивых людей, окрыленных надеждами на возвращение. Ариадна Эфрон писала много лет спустя Эренбургу, что отец должен был получить орден Ленина — сколько сил он отдал опасному делу отправки добровольцев в Испанию! Но ордена он почему-то не получил. Очевидно, потому и не получил, что не перешел ту грань, за которую его толкали.

Почему он не уговорил своего любимого, самого драгоценного человека остаться на Западе до лучших дней? Наверное, это было бы бесполезно. Он знал, что сделала Цветаева эмиграция и что для нее Россия, где уже жила и слала восторженные письма дочь. Цветаева не разделяла этого восторга, но она все равно бы поехала за мужем. «Уеду — увезу, умру — возьму...» — писала она о Сергее еще в 21-м году. Она

без малейшего сомнения сделал для него все, что мог...»

В октябре—ноябре эмигрантскую прессу заполонили статьи, порочащие евразийцев, и особенно Эфрона, в выражениях заимствованных из тогдашней «Правды». «Отвратительное, темное насекомое», «темный делец», «алобный заморыш»... Так писала об Эфроне парижская газета «Возрождение». На панихиде по умершему в Америке другу Цветаевой Сергею Волконскому к Марине Ивановне никто не подошел, ее обходили как чужую, вчерашние поклонники и знакомые. Даже Берберова, написавшая об этом позже. В тридцать девять, когда НКВД заберет Эфрона, сталинская Москва окажется для Цветаевой более вольной и милосердной, чем тогдашний Париж. В Москве до самой ее гибели были дома и были люди, принимавшие Марину в любое время дня и ночи, рискуя не репутацией, а жизнью...

Эфрон вернулся на родину после семнадцати лет эмиграции — с полным сознанием своей обреченности, но с таким же спокойным сознанием своей правоты. Каким он был под болшевскими соснами в последние месяцы перед арестом?

Из воспоминаний Софьи Клепичинной, дочери евразийца Николая Андреевича Клепичина: «...У него были яростные, лучистые, буквально излучающие добро и свет глаза. Было впечатление красото. Благородный высокий лоб, огромные глаза, темно-темные ресницы, черные брови. Его все любили. Не помню у него дурного настроения... Был улыбчивым...»

А по ночам никто не видел, как он задыхался, как писал что-то, видел только, что столик у его кровати заставлен лекарствами.

18 июня в Союз вернулась Цветаева. На другой день записала: «...Свидания с больными С. Неуют. За керосином. С. покупает яблоки. Постепенное шемление сердца...»

27 августа арестовали Ариадну. Веста сентябрь над ней измываются, выколачивая показания от отца. 2 октября составлен ордер на арест Сергея Яковлевича. 9 октября его подписывает Берия. После возвращения Марины Ивановны в Россию прошло всего 113 дней. Все было последним — последняя встреча, последний взгляд за окно вдвоем, последняя разлука...

Марии Ивановны Белкиной о семье Цветаевой («Скрещенье судеб», М. 1988 г.) — три части. О Марине, об Ариадне и Георгии. Но нет главы о Сергее Яковлевиче. И то, что ее нет в той книге, — тоже поступок бережности. В том, что говорилось о последних годах жизни Сергея Эфрона, было мало достоверного, но много оскорбительного. Приходилось ждать открытия архивов.

И вот в конце прошлого года, в юбилейном, «цветаевском» номере «Звезды», Ирина Кудрова опубликовала фрагменты «Дела Эфрона», оговорившись, «что самый добросовестный пересказ протоколов — да даже и полная их публикация! — реальная картина происходящего... не передаст». Слишком страшно все было.

И все-таки теперь мы можем оценить сиротливо мужество распятого родного человека и понять, наконец, почему архиепископ Иоанн Сан-Францисский, друживший в молодости с Сергеем и Мариной, говорил, что Эфрон — фигура еще более трагическая, чем Цветаева. (Если вообще такие слова, как «больше» или «меньше», могут быть здесь уместны...)

В перестроечных статьях 90—91-го года его повели на позорные «С чекистами спутался!..), а Цветаеву — на дознание («Знала ли Марина Цветаева, что ее муж — агент НКВД?» — это дословно подзаголовок из «Известий», 12. 03. 91 г.). Знала или не знала? Что это меняет там, в неизменности?

Все, что случилось с Сергеем Эфроном, весь этот многолетний обман его безграничного доверия ко всему из России исходящему, — все это произошло здесь, где происходит много всякого. Здесь, где монархистам положено ненавидеть коммунистов, где, как говорила Марина, «все палачи — братья: что клеветы с правильным судом и клеветы адвоката — что выстрел в спину чеки».

Марина (в письме от 27 апреля 1923 года): «Вы верите в другой мир? Я — да. Но в грозный: Возмездия! В мир, где будут судимы судьи...»

Из протокола допроса 15 февраля 1940 года: — Можете, вы начнете давать показания? Ваши сообщники уже полностью вас изобличили... — Начиная с 1931 года никакой антисоветской деятельностью я не занимался. В своей работе я был связан с советскими учреждениями, и моя ра-

боту проводила ваша жена? — Никакой антисоветской работы моя жена не вела. Она всю свою жизнь писала стихи и прозу...

После ареста Эфрона Цветаева готовит свой сборник для возможного — абсолютного невозможного! — издания. Первыми в этом сборнике Цветаева ставит свои старые стихи, посвященные Сергею Яковлевичу («Писала я на аспидной доске...»), и просит их выдвинуть на отдельную страницу. А перед тем она мучительно переделывает вторую строфу стихотворения, в ее черновой тетради осталось сорок вариантов, сорок признаний в любви, сорок заклинаний! Она любит, и он, там, в каменном мешке, живет лишь на Марининой прозябленной струночке. В июле — августе гибнут все его пять товарищей, как и он, осужденных 6 июля к высшей мере «за создание белогвардейской организации «Евразия».

Приговор окончательный и обязательный не подлежит. Марина жила, и пока она жила — не было никакой «окачальности» Эфрона, большого и замученного, перевезли из одного тюремного лазарета в другой.

«Моя память, которая есть сердце, Вы — знаете...», — писала Цветаева в одном из писем. В другом: «Он (Эфрон... Д. Ш.) похож на мою мысль... Марининой памяти, ее мысли-струночки хватили еще на сорок шесть дней его жизни — после ее ухода...»